

Л.Г. Подунова

Москва

ОБ ОЛЕГЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ШЕСТИНСКОМ

Моё знакомство с Олегом Николаевичем произошло в 1974-1975 годах, когда он переехал в Москву для работы секретарём Союза писателей СССР. Наша дружба на протяжении 40 лет была достаточно разносторонней.

Мои друзья — выпускники Ленинградского медицинского института (Лев Левинсон и Александр Мельников) наряду с врачебной специальностью обладали способностями к поэтическому творчеству, нуждались в поддержке, учёбе, наставничестве. Олег Николаевич искренне, даже по-отечески, помогал им советом, включал в состав семинаров молодых поэтов, привлекал к творческим поездкам по стране. Об этом можно писать отдельное воспоминание, т.к. работа Олега Николаевича с молодыми писателями заслуживает высокой оценки и благодарности.

Но мне хотелось написать об очень значимом событии для меня и моих родных. Однажды в 1976 году я прочла в «Литературной газете» проникновенное стихотворение Сергея Орлова «Деревня Гора», которое рассказывало о боях на Псковско-Новгородской земле, где в горящем танке он получил тяжелейшие ожоги, но, выбравшись из танка, «полз по снежной пашне до окраинной избы».

Учитывая, что я родилась в деревне с таким названием, решила позвонить Олегу Николаевичу и через него уточнить у Сергея Орлова место того тяжёлого боя. Оказалось, что описываемые события совпадают с моей родиной, договорились втроем поехать и посмотреть эти места. Однако в 1977 году Сергей Орлов ушёл из жизни, но Олег Николаевич обещал другу побывать в этих краях. Выполнить это обещание он смог летом 1982 года, приехав к нам в деревню Гора, к сожалению, в тяжёлый для нашей семьи день — девятый день после смерти папы — кузнеца, солдата Великой Отечественной войны, участвовавшего в боях под Сталинградом. Олег Николаевич прошёл по всем местам страшных сражений наших войск, осмотрел сохранившиеся оборонительные рвы, доты, дзоты, поговорил с мамой о переживаниях нашей семьи во время войны (мы были угнаны немцами в Латвию для отправки в Германию). По итогам этой поездки была написана поэма «Поле», напечатанная в журнале «Октябрь», №2, 1983 года, с посвящением «Памяти поэта Сергея Орлова». Поэма отражает собственное состояние Олега Николаевича, пережившего все дни блокады в Ленинграде, боль и страдание за друга-фронтовика, получившего страшные ожоги в боях, боль и страдания матерей и людей, которые пережили эти события. Рефреном поэмы являются строки:

К нашей деревне и ее дальнейшей судьбе Олег Николаевич еще не раз возвращался в своих публицистических статьях...

**Заслуженный врач России,
доктор медицинских наук,
профессор**

ПОЛЕ

Поэма

Памяти поэта Сергея Орлова

Кто он был? Парнишка белозёрский,
вышедший из сельской тишины
в мир войны. Трагически и резко,
до сих пор его слова слышны.

Кто он был? Солдат? Солдат, конечно!
Иль поэт? Естественно, поэт!
Так слились в нём ясно, неизбежно
путь поэта и солдатский след.

О, страна! В страду и на параде,
в скорбные и радостные дни
о своём замолкнувшем солдате,
словно о святыне, вспомяни!

Кто сказал «замолкнушем»?
Неправда!
Не замолкнут, скрыты давней мглой,
взвившие хоругви за Непрядвой,
сгинувшие в танках подо Мгой.

Не одно земное поколение —
тысячи у мира на виду
их помянут,
как своё спасенье,
как свою присягу,
как звезду.

Говорю слова, как лён, простые,
а в душе, задуматься веля, —
видевшие жизнь поля России,
видевшие смерть её поля.

1

Побывал я на поле брани
под деревню, той, Горой,
где ваш сын, Серёжа, был ранен
давней-давней зимней порой.

Колокольчики раздвигая,
отводя густую траву,
постоял у переднего края,
поклонился заросшему рву.

Поклонился берёзам, осинам,
потому что им долго стоять
там, где выпала доля машинам
стать кострами...

Милая мать!
Ничего не добавлю я боле,
потому что — кого ни спроси —
каждый скажет:
«Поле как поле —
много их у нас на Руси».

Да и впрямь: нет на отчем просторе
даже пяди одной полевой,
где бы радость, надежда и горе
не сплетались бы между собой.

Так на склоне сыром у обрыва,
уходящего срезанно вниз,
медуница, кипрей и крапива
в исступлённом порыве сошлись.

Тучи, солнце ли светлое, дым ли
осеняют траву и цветы,
знаю:
поле российское — символ
нашей храбрости и чистоты.

И не дождь по-над взгорьями
склизкими
размывает до самых корней —
это слезами материнскими
орошается жизнь сыновей.

2

Из-за Ловати
бронетанковыми
немцы били внахлёт...
Во поле
под ударами фланговыми
вспыхнул танк, краснозвёзд.
По окопам, в лоск разутюживая,
шёл он, как перст судьбы,
и вдруг замер,
что-то выслушивая,
вскинулся на дыбы.
В ста шагах, может, лишь от селения
запылала броня,
клубы дыма, как наваждение,
яростен столб огня.
И Сергей, снег руками карябая,
ткнулся в вязкую грязь,
и душа его — горлица слабая —
отлететь собралась...
Нет, он выживет!
Песней стоустой
огласит белый свет...
На носилках стонал перед кузней
двадцати всего лет...

Но война через годы накрыла,
беспощадна и чернокрыла, —
и его с нами нет.

3

О, Холмское поле,
Цветёшь ты цветами,
у Ловати-речки
дымишься кустами.
Лениво бредут по раздолью коровы...
О, цветик багряный,
о, цветик лиловый!
Я каждый цветок называю по имени
и помню, как встретился
с этим вот именно —
у съезда, у родника иль на скате...
Приехал сюда я
в раздумьях о брате,
о брате-солдате.

4

Дом на Холмском поле
до сих пор стоит...
Танк КВ в газойле
с той войны горит...
Дом на Холмском поле
всё на бой глядит.
Александра Трифонова
приглашает в горницу,
Александра Трифонова
почему-то горбится,
Александра Трифонова,
что за этим кроется?

Прибыл я в тяжёлый день,
в скорбный день, девятый...
Скрыла мать сыра земля
новый гроб дощатый.
Трифоновны муж,
кузнец,
в этой домовине...
Травы из конца в конец
светят на равнине.
Неба радужный венец
омрачился ныне.

Александра Трифонова,
старая солдатка,
слёзы вытерла платком
у плетня украдкой.
Освещала Трифонова
взглядом
горько-ясным,
горько-ясным,
горько-ясным,
только не ненастным.
Освещала не лицо,
душу освещала
и умнее мудрых книг
душу просвещала...

— Ты прости меня, хозяйка,
не уйди мне от порога,
не вини меня, хозяйка, —
я побуду здесь немного,
оба в горе мы, хозяйка, —
муж твой отошёл до срока,
друг мой отошёл до срока,
нам обоим одиноко,
зрим с тобою мы, хозяйка,
мир пронзительно-широко.

Отвечала мне она:
— Дом и род в печали,
да ведь не твоя вина,
что, явясь из дали,
к полю другову припасть
в размысле о жизни,
суждено тебе попасть
к нам за стол на тризне.

Поминальные стопки
сошлись, словно чёрные тучи,
и пролились
не белым вином,
а тоскою горючей.
Тосковала семья
о заботнике и кормильце...
Ходики на стене
целяще стучали
копытцем.
А я за столом,
и хмурясь и тоже вздыхая,
томился о друге...
О чистая жизнь молодая!
И, мучаясь, мыслил:
«За что же, за что же
калёным железом
по белой и ласковой коже?»
А надо б,
чтоб кашка дохнула медово,
чтоб лютик коснулся лица молодого,
чтоб прикосновеньем
застенчиво-долгим
прильнуть к его пальцам
девицам-метёлкам,
чтоб, словно подростки,
румяные маки
к нему обернулись,
доверчиво-мягки...
Чтоб матушка-медуница
воды поднесла напитокся.

5

И пошёл я по полю,
по лазеревому цветцу,
по деревне, которой
почти уже нету.
Отливали ещё
крыши перистой дранкой,
и сороки смуцали
в тишине перебранкой.
И коровы
не просто как дойное племя,
но как символ надежды
в нелёгкое время,

равнодушно-лениво
мой приход отмечая,
сок роняли с губы
от травы молочая.
И уже набухла
огуречная завязь,
и старуха косила,
со скотиной управясь.
И меня уводили
цветы и деревья
по заросшей дороге
в сторону от деревни.
И я взглядом округу
охватывал цепко:
ровно встали овсы,
в них петляет сурепка
и кукушкины слёзы
цветут, от которых
все кукушки кукуют
на косогорах.

И подумал ещё я:
«А я ведь в России,
в той России,
которую оросили:
кровью — друг-командир,
потом —
в кузне крестьянин,
а крестьянка — слезами
в мире,
что так желанен.
Я в России,
а ей-то стоять неизбежно,
прут останется в поле —
станет ивою дивной».

С зорькой Трифонова на огороде,
при корове уже на восходе,
вот выводит овец на пастьбу,
топит печь, в ней томится картошка,
и духмяно плывёт из окошка
запах мяса...

За городьбу
глянь — там улы. Мёд одурманит,
околдует, янтарностью манит,
тает мёд необычно во рту.
Молоко — деревенская слава —
чуть кольшется слева направо
в глиняном кувшине средь стола;
молоко не попей,
а откушай,
как течёт оно в жилах —
плоть его величаво-бела.

Вот он труд —
и на поле и дома,
не берёт никакая истома,
невралгия, тоска и хандра.
Если сердце болит —
так уж болью,
болью, смешанною с любовью,
отошедшей с любимым вчера.
Размышляет, оставшись вдовою,
как ей жить: мол, одной головою,
к дочерям ли податься в Москву?

Но ведь там не в родном —
в шлакоблочном,
будут сниться в надрыве полночном
огород и корова в хлеву.

6

Сколько вынесла, Богу известно.
А жила только честно,
лишь честно.
В сорок третьем враги увезли.
Вдалеке от родительской кровли,
посреди лихоманной земли,
где-то в городе работаровли
с дочерьми стоит, с узелком...
Выбирают её, словно тёлку,
фрау в сущность вникают подолгу,
не желают с дитячьим добром.
Под конец и её сторговали.
Сколько месяцев выбивали
из души её русскую честь!
Чтобы гладила пса по шерстинке,
чтобы дочери ниже травинки,
чтоб, как милостыню, пела песнь.
Не скрутили, не смяли, не сбили.
В сорок пятом в деревню пришла.
Только ветры над углями выли
да желтела от влаги зола.
Начинала
от первой обнове,
от кола,
от косы,
от коровы,
от ломтя пополам с лебедой,
да всё ладилось в мастеровитых,
молодых, закалённых в обидях
её женских руках
той весной.

И подумал я снова:
«А я ведь в России,
в той России,
которую оросили:
кровью — друг-командир,
потом —
в кузне крестьянин,
а крестьянка — слезами
в мире,
что так желанен.
Я в России,
а ей-то стоять неизбежно,
прут останется в поле —
станет ивою дивной».

7

Словно в глуби остывшей земли,
постоял я в покинутой кузне,
где когда-то и радуг искусней
небывало созвездья цвели.

Этот дом из задымленных брёвен,
этот пылуший жаром вулкан
был, как сердце народа, огромен,
неотъемлем от жизни крестьян.

Ждали лошади новой ПОКОВКИ,
ждали сани полозья свои,
ждали дуги литые обновки —
колокольца, что, как соловьи.

Перековывалось и ковалось
всё, что было под жёсткой рукой,
и дымилось вокруг и дышалось,
словно в праздничной баньке какой.

И земляк, заскочив на минутку,
честь воздав огневому труду,
от угля зажигал самокрутку,
грелся, словно в весёлом аду.

И не ведал привычнее доли
мастер, сталь зажимая в тиски,
ибо всё, что работало в поле,
от его исходило руки.

Словно в глуби остывшей земли,
постоял я в покинутой кузне,
где когда-то и радуг искусней
небывало созвездья цвели.

С покосившегося порога
я глядел на ромашковый склон,
где плавающий танк одиноко
в давний год зачернил небосклон.

Ах, какая простёрлась дорога
от пожара, что здесь за бугром
плавил сталь, обжигая жестоко,
до огня, что светился добром!

И подумал опять я:
«А я ведь в России,
в той России,
которую оросили:
кровью — друг-командир,
потом —
в кузне крестьянин,
а крестьянка — слезами
в мире,
что так желанен.
Я в России,
а ей-то стоять неизбывно,
прут останется в поле —
станет ивою дивной».

8

Сколько полей у родимой Отчизны!
Каждым пройдишь,
наклонись,
долю вызнай.

Мало ходил по земле я полями,
да перекатами, да косогорами,
мало советовался я с цветами,
мало ходил по земле я полями —
всё переходами да коридорами.

И пошёл я по полю,
по останкам последнего боя,
и пыльца задымилась
от кукушкиных слёз, зверобоя.
И шмели к иван-чаю,
как к окулярам, прильнули,
и жужжащие пчёлы —
как будто жужжащие пули.

И окоп, провисший
ослизлой кручею,
ощетинился
лихом крапивы,
чернотопой и жгучею.
И по сочной траве
пропылил предо мной, как виденье,
танк KB,
танк свободы и мщенья.

9

Целый день — помню — бабка косила,
издалёка с пригорка видна.
И откуда бралась только сила,
чтоб с косою ходить дотемна.
И, оглядывая эти доли,
глядь речную и эти холмы,
я подумал: работой тяжёлой
с юной доли венчаемся мы.
Не с того ли под силу народу
выдюжить не простую страду,
а любую земную невзгоду,
а любую лихую беду?

10

Перевези, перевозчик,
Ловатью от села...
Вёсел размашистый почерк,
высь над рекою светла.
Чёрного леса быллинность,
марево, как из слюды...
И поражает наивность
тёмно-зелёной воды.
Свесься с ладьи новгородской,
диву дивлюсь: в глубине
кто-то знакомо смеётся
и улыбаётся мне.
Встречусь ли взглядом с ракитой, —
а между нами верста, —
кто-то с улыбкой открытой
машет, зовёт из куста.
Или за птицей с любовью,
если бы полем пошёл,
кто-то б крылом, словно бровью, —
в небе широко повёл.
Верю я: в лике природы
тех, что навеки ушли,
в ясные эти восходы
можно увидеть вдали.
Но потому ли на глади,
в зыбкости лозняка
чудятся мне его пряди,
в резких ожогах рука.

Сколько в эти дни
 было выплакано,
 было выговорено!
 Я прощаюсь с вами,
 Александра Трифоновна.
 Каждый день
 по воле иль неволе
 всё у вас перед глазами поле.
 Вы уж другу моему кивните,
 когда птицы защебечут в жите.
 А когда побронзовеет ива,
 улыбнитесь другу сиротливо.
 А как забелеет снег на пашне,
 о танкисте молодом поплачьте.
 И утешьтесь тем, что не вдовою
 остаётесь вы на белом свете, —
 матерью, прекрасной и святою,
 все мы ваши дети!

И подумал, прощаясь:
 «А я ведь в России,
 в той России,
 которую оросили:
 кровью — друг-командир,
 потом —
 в кузне крестьянин,
 а крестьянка — слезами
 в мире,
 что так желанен.
 Я в России,
 а ей-то стоять неизменно,
 прут останется в поле —
 станет ивою дивной».

Мать поэта и мать солдата,
 святая жизнь и бессмертье свято!

Мать!
 Остался он в солнце рыжем,
 в молодой и нетленной ржи,
 в том, что жаворонка мы слышим
 в не разбитой никем тиши.

Мать!
 Осталась его дорога,
 та, которая в свой черёд
 неподкупно, открыто, строго
 в двадцать первый век перейдёт.

Мать!
 Не розы там вдоль обочин,
 не фиалки, не маков цвет, —
 грунт утоптан, тяжёл и прочен
 там от шествий побед и бед.

Мать!
 Одной лишь дорогой этой,
 никакой дорогой иной
 не дойти до ясной, воспетой
 жизни, схожей только с мечтой.

Не у памятника-обелиска
 и не на могильной черте, —
 среди жизни кланяюсь низко,
 мать, духовной твоей красоте.